ФА, СИ, ЛЯ…

Привычным, отточенным за восемь лет движением Муся пристроил на плечо скрипку. Это был дорогой, старинной работы инструмент, которым музыкант очень дорожил. И сейчас ему больше всего было жаль ее, свою верную подругу, которую подарила ему мама. «Мама… Не плакать», – он поднял смычок. Красиво и легко провел по струнам.

Фа, си, ля, до второй октавы и снова си, фа, ми. Над замершей толпой поплыли первые звуки, тихие и дрожащие, пока Муся воевал с волнением, однако с каждым мгновением становившиеся все уверенней.

Иногда Мусе казалось, что он родился со смычком и скрипкой и сразу дал первый концерт. Времени, когда бы в его жизни не звучала музыка, он не помнил. Первым учителем Муси стал сосед, давший однажды плачущему малышу старую скрипочку, оставшуюся от внука. Все думали, что мальчик поиграется с инструментом, как с обычной деревянной игрушкой, но тот вдруг заиграл! Так старательно водящий смычком по струнам Муся неожиданно для всех и даже для самого себя вывел свое будущее. С этой минуты его душу наполнила музыка. Муся слышал ее в каплях дождя, стекающих по оконному переплету, в туманах, стелющихся над болотами, окружившими его родные Бельцы причудливым ореолом, в легком ветерке, колышущем озерную гладь.

Муся почти никогда не расставался со скрипкой, которая радовала и огорчала, дарила надежду и причиняла боль. «Странно, почему Сева так плачет, когда его тетя Галя на занятия ведет? Как люди могут жить без музыки? Если бы она исчезла из мира я, б, наверное, сразу умер».

Ми, соль половинка, ми четверть. Рука не дрожала, звуки лились ровные и твердые. Смычок «летал» по струнам сильно и властно, словно Муся стоял на сцене, а не на выжженной солнцем окраине станицы. «Главное, не бояться. Страшнее уже не будет». Соль, си, ля…

Когда его стали звать Мусей, он не помнил. Как-то так само получилось, что мамино долгое и нежное «Абрамуся» превратилось в короткое и деловитое «Муся». Даже в газете, которую с торжественным видом принес дед, его называли домашним прозвищем. Муся не обиделся, все-таки не каждый день про тебя в газетах пишут, чего уж сердиться на такие пустяки. В тот вечер вся семья собралась за большим круглым столом, даже папа пораньше из своей больницы вернулся. Мама читала статью, а Муся тихонько играл. Сам-то он читать еще не умел, да и считал не очень быстро. Единственное, что он делал не просто хорошо, а удивительно хорошо, – играл на скрипке. В тот вечер даже дед согласился, что Мусе не обязательно становится врачом, как всем мужчинам в семье. Он будет лечить души людей музыкой. Муся тогда даже заплакал, так ему стало жаль больных и нестерпимо захотелось их всех вылечить. Ради этого он готов был отказаться от ужина, и от вкусного молока на ночь, и от яблока, и от… «Подожди, сынок, отказываться. Как же ты играть будешь голодным? У тебя сил не будет!» –   
мама ласково прижала сына к себе, радуясь и вместе с тем страшась его решимости.

Ля, соль, фа, ми. «Мама... – рука Муси дрогнула, и он тут же запретил себе думать о ней. – Нельзя! Надо продержаться хотя бы куплет. Нет! Еще припев. И еще куплет. Пока не опомнились».

Мусе нравилось идти по улицам Бельцов за руку с дедом. Да и с отцом тоже. Врачей Пинкензонов, казалось, знали в городе все. Их все время останавливали, чтобы поздороваться, совсем незнакомые люди. Мужчины поднимали шляпу и пожимали руки, женщины начинали раскланиваться еще издалека, а, когда подходили ближе, улыбались и совали Мусе в руку петушка на палочке или мягкий калач. Когда семье пришлось эвакуироваться на Кубань, отец и тут умудрился стать известным всей станице. Сколько раз Муся просыпался не от грохота снарядов, а от нетерпеливого стука в дверь – была нужна помощь, отец уходил и возвращался домой под утро. Если возвращался, конечно, а не сворачивался, как в детстве, калачиком на двух поставленных рядом стульях в ординаторской до следующего грохота или крика: «Раненых привезли». Вот ради этих «привезенных» семья Муси и не успела уехать от лавиной накрывшего станицу фронта. Вернее, не захотела, не смогла бросить ни обгоревшего летчика из пятой палаты, ни контуженного танкиста из третьей, ни санитарочку из первой с ампутированной после гангрены рукой. А потом эта смертельная лавина унесла с собой все: и раненых, и Мусины одинокие вечерние концерты в отцовское дежурство, и госпиталь, и саму жизнь семьи Пинкензон.

«Ре. Половина с точкой. Почему эта длительность многим кажется такой сложной? Все же понятно – половина и еще ее половина, ну, половина с четвертушкой, это несложно, это красиво» Муся перевел дыхание, и новая фраза зазвучала так мощно, что люди в толпе вдруг изменились. Казалось, страх перестал тянуть к их душам свои отвратительные мертвящие щупальца, и на них неуловимо повеяло ветром надежды. «До, си…»

Лежачих раненых добивали в палатах, тех, кто мог ходить, вытаскивали во двор и там расстреливали. Молоденькая санитарочка лежала на выжженной солнцем земле, глядя остекленевшими глазами в синее безбрежно небо. На белых бинтах расплывались пятна свежей крови. Отец Муси, не представлявший, что можно вот так расправиться с беззащитными людьми, первый раз в жизни преступил через клятву Гиппократа. Доктор Пинкензон не стал оказывать помощь немецким солдатам, которые уже заняли койки, еще хранившие тепло уведенных на расстрел. Мама до вечера металась по знакомым, пытаясь пристроить Мусю, но он упрямо возвращался домой. Вечером пришли и за ними.

Рыжие брови немецкого офицера сначала недоуменно взметнулись, а затем сошлись в одну сплошную линию, не предвещавшую ничего хорошего для худенького мальчика со скрипкой. «Замолчать! Свинья! Не играть!» Люди, толпящиеся вокруг Муси, зашевелились. В прозрачном летнем воздухе сначала негромко и слабо, а затем все звонче и сильнее звучало: «Кипит наш разум возмущенный…» Муся играл, песня, заполнив площадь, прокатилась над станицей и ушла дальше к удивительно голубому в тот день небу. Застывшие от неожиданности, солдаты оцепления даже не делали попытки взяться за оружие. Зубы капитана заскрежетали, глаза из светло-голубых, породистых стали черными и далеко не арийскими. Когда этот оборвыш попросил разрешения сыграть последний раз на скрипке, которую так старательно прижимал к груди, офицер решил, что он просто оттягивает момент расправы. Но этот еврейский выродок посмел играть «Интернационал»! Он что, сошел с ума, увидев расстрел отца, пытавшегося выпросить пощаду сыну и смерть матери, бросившейся на труп мужа? Как иначе можно объяснить эту дерзость?! Рука метнулась к кобуре.

«Ре, си, соль. Больно… Очень… больно… Играть… Еще игр…» Пятно крови на белой рубашке отца, волосы матери, поднятые ветром, лица людей, громко выводящих «в смертный бой…», зеленые мундиры немецких солдат, рот офицера, кривящийся в диком крике, слились в глазах Муси в страшной, нереальной пляске. Через мгновение Муся лежал на земле, левой рукой прижимая к себе скрипку, а правой крепко сжимая смычок. Его черные глаза смотрели в самую глубину бездонного летнего неба, словно надеясь увидеть там победный день, который он сейчас приблизил ценной своей маленькой одиннадцатилетней жизни.